

Мало, что умный человек, окинув глазами памятники веков, скажет нам свои примечания: мы должны сами видеть действия и действующих, тогда знаем Историю. Хвастливость авторского красноречия и негра читателей осудят ли на вечное забвение дела и судьбу наших предков? Они страдали и своими бедствиями изготовили наше величие, а мы не захотим и слушать о том, ни знать, кого они любили, кого обвиняли в своих несчастиях? Иноземцы могут пропустить скучное для них в нашей древней истории, но добрые россияне не обязаны ли иметь более терпения, следуя правилу государственной нравственности, которая ставит уважение к предкам в достоинство гражданину образованному?

Мы одно любим, одного желаем: любим отечество, желаем ему благоденствия еще более, нежели славы, желаем, да не изменится никогда твердое основание нашего величия, да цветет Россия... по крайней мере долго, долго, если на земле нет ничего бессмертного, кроме души человеческой!

Н. М. Карамзин

ПРОЛОГ

О, светло-светлая и красно украшенная земля Русская! Многими красотами удивлена ты еси: озерами светлыми, реками многоводными, святыми кладезями местночтимыми, горами крутыми, холмами высокими, дубравами частыми, полями дивными, зверьми разнообразными, птицами бесчисленными, городами великими, селами красными, садами обительными, домами церковными, князьями грозными, боярами честными, вельможами гордыми — всего еси исполнена земля Русская, о, правоверная вера христианская!

Отселе до угров, и до ляхов, и до чехов, а от чехов до ятвяги, от ятвяги до литвы, до немец, от немец до корелы, от корелы до Устюга, туда, где тоймичи дикие, и за Дышущим морем, а от моря до болгар, от болгар до буртас, до черемис, от черемис до мордвы — то всё покорено было Богом христианскому языку, все поганские страны: великому князю Всеволоду, отцу его, Юрью, князю киевскому, деду его, Володимеру Мономаху, которым половцы страшили детей в колыбелях, а литва тогда из болота на свет не выныкивала, а угры твердили каменные города железными воротами, абы на них великий Володимер тамо не въехал, а немцы радовались, далече будучи за синим морем! Буртасы же, черемисы, вяда и мордва бортничали на князя великого Володимера. И сам кюр Мануил цареградский, опас имея, бесценные дары посылал к нему, дабы и под ним великий князь Володимер Цесаря города не взял!

А в последние дни настала болезнь христианам, от великого Ярослава и до Володимера, и до нынешнего Ярослава, и до брата его, Юрья, князя владимирского...

О, великая земля Русская, о, сладкая вера христианская!

Горели деревни. Ветер нес запах гари, горький запах, мешавшийся со смолистым сосновым духом и медовыми ароматами лугов. Сухой и тонкий, он лишь слегка, незримо, вплетался в упругую влажность ветра, и все-таки от него, от этого легкого и горького привкуса, першило в горле и сухо становилось во рту, ибо это

был запах беды, древней беды народов и особенной беды деревянной, дотла выгорающей в пожарах русской страны. И это же был запах огня, жизни! Но почему так рознятся запахи дыма костров и пожарищ? О жилом, о тепле, о ночлеге и хлебе говорит дым костра, и о смерти, скитаниях, стуже — горький чад сгорающих деревьев.

На вершине холма, на коне, что, потягивая повод и тревожно раздувая ноздри, нюхал ветер, тянувший гарью из-за синих лесов, сидел, глядя тяжелыми, в отечных мешках, зоркими глазами туда же, куда и конь, и еще дальше, за синие леса, за озера, в далекие степи мунгальские, русский князь. Он лишь на миг скосил глаза, когда внизу вырвалась вдруг из леса, ломая грудью ельник, ошалевшая от огня и страшного запаха дыма кобыла, и тотчас, следом за нею, выскочил на опушку и побегал по склону холма, кособочась, босой старик, с отдуваемой ветром бородой, в серо-белой некрашеной рубаше и таких же серо-белых, отбеленных солнцем холщовых портах. Мужик бежал, щурясь на бегу из-под ладони, зорко и опасливо глядя вверх, туда, где, темный против солнечной стороны, стоял на коне князь и чередой тянулись, щетинясь остриями копий и шеломов, ратники княжой дружины. Кто-то из ратных, не выдержав, порушил ряд и поскакал впереймы, норовя раньше мужика ухватить за повод одичавшую лошадь...

Князь с холма продолжал глядеть вперед. Он знал эту дорогу. Долго будут тянуться, провозжая, еловые да сосновые боры, березовые колки, дубовые и кленовые рощи, деревни и города, пашни и перелески, где остались, в чаще лесов, родной Переяславль, княжий стол, златоглавый Владимир. А там, за Муромом, за Окою, шире и шире пойдут поляны в разноцветье трав, по брюхо коню, чернее земля на пашнях, а там, за последними, потерянно прячущимися в приовражьях русскими землянками, начнутся степи, а за ними шумный и разноязычный Сарай, не поймешь: то ли торг, то ли город, то ли стойбище татарское?.. Где рев верблюдов, табуны коней, амбары, лавки, пыль, иноземные купцы и, среди всего, жалкие глаза русских полоняников. А там, за широкой, как море, рекой Итиль, по-русски Волгой, опять степи, чужие, мунгальские, где уже и не встретишь русского лица, только седой серебряный ковыль под ветром ходит волнами до края неба да изредка промаячат по этому морю плывущие караваны. А там, дальше, редкие сосновые перелески да пески, и цветные, рыжие, красные, зеленые

и синие холмы, и снова степи день за днем, месяц за месяцем, и сухая пыль, то жаркая, то ледяная, и горы в мареве, и лица чужие, плоские, широкоскулые, будто трава их рождает так, целиком, в оружии, на диких степных конях. И совсем далеко ставка великого кагана, степной город, составленный из расписных юрт и лаковых разборных дворцов, готовый ежеминутно сняться с места и в реве, в ржании, в глухом и тяжелом, потрясающем землю стуке бесчисленных копыт плыть на новые земли и страны, рушить царства, губить города... Город, откуда так трудно возвращаться живым... Князь смотрел, каменяя, за синие леса, за широкие степи, великий князь Золотой Руси!

Он был женат, как и Владимир Святой, на полоцкой княжне. Только не брал ее с бою, как Владимир Рогнеду, и жили хорошо. Свое прозвище «Невский» он получил за малую битву, удавшуюся ему в далекие молодые годы, в те годы, когда только и можно так вот, очертя голову, не собрав рати, с одною дружиною сунуться на неприятеля, уповая лишь на удачу да на неожиданность натиска... Свеи опомнились быстро, и, кабы не оплошность Биргера да не удаль молодецкая, ему бы плохо пришлось. После, с немцами, он уже не забывал так себя. А на что ушли прочие годы? На устроение. Он устраивал землю. Для себя. Для своих детей. Вот эту русскую землю топтали татарские кони по его зову. Саблями поганых добывал у родного брата золотой стол владимирский. Добыл. Разоренную, поруганную, в крови и пепле сожженных городов... И устраивал.

И принял руку Батыеву, протянутую ему, и сам протянул руку врагу в час, когда Бату, в споре с Гуюк-ханом, остался один, с малым войском, на враждебной, едва полоненной земле, и мог быть, возможно, разгромлен совокупными силами...

И не пошла ли бы тогда иначе вся история Руси Великой? В союзе с торговым, изобильным, деловитым Западом, с его королями и императорами, книжной премудростью, замками, рыцарями, каменными городами, учеными-гуманистами?

Думал ли он, что католики Запада могли оказаться еще пострашней мунгальской орды, что, наложив руку на храмы, веру, знание, обратив просторы русских равнин в захолустье Европы, прикрывшись страной, как щитом, от угрозы степей, они предали бы потом обессиленную, отравленную учением своим Русь и бросили ее на съедь варварам Востока, надменно отворотясь от поверженной в прах страны? Или, не загадывая так далеко, просто не

почел рисковать неверным воинским счастьем в споре, исход которого был слишком неясен и, в поражении, грозил обернуться еще горшею бедой? Или — из мести за отца, отравленного в Каракоруме ханшей Туракиной, — решил поддержать он Бату, врага Туракины и Гуюка? Или все это вкупе, быть может, даже и не понятное, а почувствованное сердцем, обратило его к союзу с Ордой?

Ручеек просек каменный склон и стремится вниз, с резвой белопенной радостью рождения. Тут и камня хватит, завала, лопаты земли, чтобы задержать, запрудить, поворотить течение назад, быть может, перекинуть на другую сторону горного хребта... Но вот ручей ширится, вбирая ручьи и реки, обрастает городами, несет челны, поит земли, и уже подумать нельзя, чтобы не здесь, не в этих берегах и не к этому морю стремился мощный поток, тот поток, что когда-то упавший камень, оползень или заступ землекопа могли обратить вспять, и росли бы другие города, и уже иные народы полили иные стада из этой реки, и в иные моря уходили ее струи... И уже стали бы думать — почему? Искать неизбежности, доказывать, что именно так, не иначе, должна была, не могла не потечь река-история, будто история существует сама по себе, без людей, без лиц. Будут говорить о ее непреложных законах, ибо видна река, но не камень, повернувший течение ручья...

Русский князь с тяжелыми властными глазами стоял у истока. Он, возможно, не знал этого и сам, не ведал, что от него, от копыт его скакуна потечет, будет расти и шириться великая страна. Он не знал и не ведал грядущего. Он весь еще был — при конце. Величие, рассыпавшееся по земле, как дорогое узорочье, гаснущий блеск Киевской державы закатным огнем еще осеняли его голову. Но он избрал путь, повенчав Русь со степью узами любви и ненависти, на вечный бой и вечную тоску по просторам степей. И сейчас, с холма, глядел туда, в эти безмерные дали времени, прозревая и не видя за туманами верст и веков конца своего пути...

Его (он не знал этого) сделают святым. Святым он не был никогда. Был ли он добр? Едва ли. Умен — да. Дружил и хитрил с татарами, не пораз ездил в Орду, в Сарай, и даже в Каракорум, к самому кагану мунгальскому. Но, выбрав свой путь, шел по нему до конца. Себя заставлял верить, что надо так. Останавливал нетерпеливых, не послушал даже Данилы Галицкого. Усмирял Новгород, не желавший платить дань татарам. Усмирил, родного сына не пожалев. Сам гнул и других гнул. Твердо помнил, как отец умно и вовремя

склонился перед Батыем, не пришел на Сить умирать вместе с Юрием — и получил золотой владимирский стол. Отец был прав. Мало радости да и честь не добра, погинуть стойно Михайле Черниговскому!

Так, тяжелой братнею кровью окупленный, кровью не им, а татарами пролитой, решился вековой спор суздальских Мономашичей с черниговскими Ольговичами, спор Юрия Долгорукого, а потом и Всеволода о золотом столе киевском, спор Ярослава Всеволодича, отца Александра, с тем же Черниговским Михаилом. И вот теперь не Михайло, святой мученик, а прежде того держатель стола киевского, мнивший объяти всю землю русскую в десницу свою, — не Михаил, а он, Александр Ярославич Невский, стал великим князем киевским и владимирским тож. Но горька та власть, полученная из рук татарских, над опустелым, травой заросшим Киевом, над разоренной и разоряемой Черниговскою землей. Горька власть, и тяжка плата за власть — дань крови и воля татарская.

Земля была устроена. Сыновья выросли. Старший, Дмитрий, получит Переяславль, а там, после дядьев, и великое княжение владимирское. Братья, братаничи, ростовские и суздальские своюродники, смоленские и черниговские князья — послушны его воле и под рукой ходят. Земля принадлежит ему, его роду. Даже младший, годовалый Данилка, получит удел — городок Москву, будет чем себя кормить при нужде. Земля была устроена, и дети выросли. И все равно главного он не сделал. Земля была не своя, чужая. Дымившиеся за лесом деревни платили дань татарской Орде и были подоожжены татарами. И отряд-то, верно, маленький, пожгли и отбежали. Поди, тех баскаков чадь, что избиты по городам...

Самое время, одарив и улестив Беркая, добиться, чтоб самому, без бесермен поганых, собирать ордынские выходы! Дань на своей земле князь должен собирать сам! Пото и разрешил он черни резать и гнать бесермен из Ростова, Ярославля, Углича, Владимира и иных градов и весей. Не слепо, как Андрей, не очертя голову! Там, в далекой степи, встала рать. Орда в брани с каганом мунгалским. За каганьих ясащиков могут нынче и не спросить. На резню по городам, почесть, было получено разрешение золотоордынского хана... Было ли?

Резали страшно. В Ярославле инока-отступника, Зосиму, что принял мухаммедову веру и ругался над иконами, оторвав голову,

таскали по городу и не то утопили потом в отхожем месте, не то бросили псам. Резали дружно, в один день и час... Он опять мысленно пересчитал тяжкие узлы с дарами. Но ведь дары можно взять и так, прирезав его, Александра, с горстью ратных! К счастью, пока еще он нужен Беркаю. Нужны русские полки для далекой персидской войны. Полков, впрочем, он тоже нынче не даст, рати с воеводами усланы им под Юрьев, громить немцев. Там они нужнее. Довольно уже русских воев ушло в мунгальские степи да в Китай. Ушло, и не воротилось назад!

Он сумел пережить и перехитрить Батыя. С сыном Батыевым, Сартаком, заключил братский союз. Но ежели там, в далекой степи, его поймут — он пропадет и выплатит на сей раз головой тяжкую дань татарскую. Сартак, названный брат, убит. Быть может, и для него это последний поход.

Тяжело весить на весах судьбы своей невесомое! Отца не любили на Руси. И оговорил его у кагана свой же боярин, Федор Ярунович... Братство с покойным сыном Батыевым перевесит ли в Орде пролитую татарскую кровь, когда и на своих-то положиться нельзя? Да и поможет ли братство с покойником перед лицом нового хана чужой, мухаммедовой веры?

Ежели хоть одна из тех грамот, что рассылал он по городам, упадет в мунгальские руки... Ежели там, в далекой степи, поладят друг с другом и снова захотят пролиться на Русь тысячами конских копыт... Ежели Орда откачнется к бесерменам и объявит священный поход на христиан... Ежели Беркай его разгадает — он погиб. И погибнет Русь. Вот этот мужик, что ловит свою кобылу... А об ином и думы нет. Сколько их бредет, с гноящимися ногами, бредет и пропадает костью в великой степи!

Ратник уже успел поймать крестьянского коня и теперь насмешливо глядел на подбегавшего мужика. Лошадь мелко дрожала кожей, тонко ржала, кося кровавым глазом.

Мужик, в некрашеной посконине, еще бежал, пригнувшись, вверх по скату холма, косо загребая твердыми, в бугристых мозолях, растоптанными стопами колкую с прошлогодней косьбы, сухую затравеншую землю, и на бегу все вскидывал руку лопаточкой, пытаясь, защитив глаза от солнца, разглядеть князя, но уже чувалось, что и сам не знает, догонять ли лошадь или, спасая жизнь, стремглав кинуться назад, в лес.

Князь чуть повел шеей и краем глаза увидел, как Ратша повелительно кивнул ратнику, и ратник, по каменной спине князя мигом

МЛАДШИЙ СЫН

догадав, что дал маху, толкнул стремями бока своего скакуна, дергая упирающуюся кобылу: «Но! К хозяину идешь, шалая!» — с нарочитым безразличием подъехал к остоявшемуся мужику, верившему и не верившему неожиданной удаче, и протянул тому конец веревочного повода. Мужик вздрогнул, чуть не оплошав, попятился, но успел-таки поймать прынувшую вбок кормилицу. Под тяжелым взглядом полуприкрытых отеками веками глаз ратник отпустил повод, и мужик, смятенно озираясь на князя, торопливо вскарабкался на хребет лошади и так, охлюпкой, погнал ее скорее в лес, туда, где таял в воздухе дым догорающей деревни. Ратник воротился в строй. Князь, так и не вымолвив слова, отворотил лицо.

Земля была своя, и зорить ее без толку не стоило.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА 1

Александр умер на обратном пути из Орды, не доехав до Владимира, в Городце.

Приставали в Нижнем. Обламывая береговой лед, лодьи подводили к берегу. Бессильное тело больного князя бережно выносили на руках. Тяжелую кладь, казну и товары, оставили назади, ехали налегке — довести бы скорей! И все одно не успели. От холодного лесного воздуха родины ему сперва полегчало, но уже под Городцом поняли — не доедет. Остановили на княжьем подворье. Обряд пострижения в монашеский сан совершали наспех, торопясь. Священник, отец Иринарх, пугливо взглядывал в стекленеющие очи великого князя владимирского и киевского, все еще не веря тому, что происходило у него на глазах. Властной тяжестью руки Александр паче всего приучил всех верить в свое бессмертие. И вот — рушилось. Русская земля сиротела, и он, Иринарх, перстом Господа был указан для дела скорбного и громадного: отречь от мира надежду и защиту земли. Замешкавшись, он пропустил тот миг, когда последнее дыхание умирающего прервалось и осталось смежить очи, из которых медленно уходила жизнь. Трепетной рукою он коснулся холодеющих вежд, с усилием закрыл и держал, шепча молитву, дабы не открылись вновь, не увидеть еще этот немой, безмысленный, мертвый и страшный взгляд; два холодных драгих камня — грозно оцепеневшие голубые очи великого князя.

Уже за Городцом начались поминальные плачи. Мужики придорожных деревень стояли рядами, крестились, сняв шапки. Бабы плакали навзрыд. На стылую землю с серо-сизого облачного неба оседала, кружась, редкая неслышная пороша. Лужи звонко ломались под копытами и полозьями саней. Молча подъезжали, присоединялись к печальному поезду князя с дружинами из Стародуба, Гороховца, Ярополча. Ближе к Владимиру гроб понесли на руках. Толпы горожан, чернея, оступили дорогу. У Боголюбова, за десять верст от города, где тело встретил митрополит Кирилл с причтом,

от народа стало не пробиться. Люди забирались на кровли, лезли на ограду, с горы перли вниз так, что изгороди сметало, точно половодьем. Толпа шуб, сермяг, армяков и зипунов, простых вотол и дорогих опашней, бабьих коротеев и боярских шубеек залила и перехлестнула пути. Кое-где вскрикивала задавленная баба, дуром, на сносях, припершаяся в самую гущу; плакали и сморкались; гомон гомонился: «Братцы! Православные! Задавили! Батюшки! Спаси Христос! Люди добрые! Отдай! Отступи! Спаси, Господи, люди твоя! Заступник, милостивец! Живота лишите совсем!» Выпрастывая с усилием руки, крестились, тискали шапки в руках. Пар курился облаками над морем сивых и светлых, где лысых, где кудрявых голов, над платками, киками и кокошниками горожанок. Старались не отстать и лезли, лезли вперед, к открытому гробу, туда, где пламя свечей металось от соединенного в ветер людского дыхания, в облака остро пахнущего на морозе ладанного дыма, и тут падали на колени, ползли, тянулись — хоть прикоснуться к краю одежды, к ногам, к скрещенным на груди рукам покойного. Священники, подымая кресты, отодвигали воющую толпу, совестили. Только так можно было, и то медленно, шаг за шагом, поминутно останавливаясь, продолжать шествие. А когда над кое-как укрощенным многолюдьем поднялся митрополит и слабым, но ясно прозвучавшим в морозном воздухе голосом бросил в толпу свои, ставшие знаменитыми в столетьях слова: «Зрите, братие, яко же зайде солнце земли русския!», и народ тысячеустно возопил в ответ: «Уже погибаем!» — и стал валиться на колени, показалось — задрожала сама земля, не выдержав тяжкого колыхания необозримой скорбной громады...

И звонили колокола, и снова, и снова передавалось и росло, и светлело, исторгая потоки слез, словно ветром принесенное, обогнавшее скорбный поезд благовестие: татарского погрома, мщенья за побитых бесермен, коего с ужасом ожидала истерзанная Владимирская земля, не будет, не будет! Мертвый Александр вез на Русь мир.

Потом, тоже разом облетевшее весь город, распространилось известие о чуде. В соборе, во время отпевания, когда приступили ко гробу, дабы вложить прощальную грамоту, покойный сам распротер длань и принял грамоту из рук объятого ужасом митрополита, и вновь сжал десницу, — а был уже девятый день по успении! О том, впрочем, говорил и сам митрополит Кирилл, толкуя чудо как знак святости и великих заслуг покойного перед Господом

и языком Русским: «Тако бо прослави Бог угодника своего, иже много тружася за Новгород, и за Псков, и за всю землю Русскую, живот свой полагая за православное христьянство».

ГЛАВА 2

Пышные княжеские терема Всеволода Великого, о которых еще и теперь восторженно вспоминали старики, — с возвышенными, на киевский образец, обширными сенями, с хороводами гульбищ, вышек, затейливых верхов, сплошь изузоренных и расписных, золотом и киноварью подведенных, — сгорели во время Батыева погрома. Нынешний княжой двор во Владимире был и проще, и бедней. Да и не диво: с каких животов и кому было восстанавливать былую былинную красоту? Каждый князь, получавший владимирский стол, продолжал жить в своем родовом городе, только наезжая по времени во Владимир. Митрополичьи палаты, стараниями Кирилла возведенные на пепелище, выглядели основательней княжеских. Только голые белокаменные соборы по-прежнему возносили свои тяжело-стройные главы над кручей Клязьмы и от соседства понизившихся княжеских теремов прореженного пустырями города стали как бы еще выше, еще стройнее.

Тело Александра до похорон поставили в большой столовой палате. Теперь тут было все убрано и приготовлено к поминальной трапезе. Раздеваясь (прислуга, стараясь быть незаметной, сновала с верхним платьем, подавала гребни, шепотом спрашивала, не нужно ли чего?), проходили в соседнюю, крестовую палату. Здесь, под образами суздальского и новгородского письма, уже стояли — до прихода митрополита не садился никто — князя и княгини из рода Всеволода Великого, Всеволода Большое Гнездо, слетевшиеся на скорбную весть из ближних и дальних городов Владимирской земли.

Александра, вдова Невского, с двухлетним Данилкой, извещенная с пути о болезни мужа, выехала из Переяславля загодя. Весть о кончине застала ее во Владимире. От Боголюбова Александра в рыданиях билась над гробом, в церкви несколько раз падала замертво. Данилка, еще ничего не понимавший, только таращил глазки на золотые ризы, на свечи, на оклады икон, задирая головку на старинные, византийской работы, хоросы, чудом уцелевшие во время пожара и взятия града, когда последние защитники, епископ и княжеская семья задохлись в дыму на хорах поруганной святыни. Поднесенный к гробу, он недоуменно поглядел на мать, а когда его

приложили губами к холодному лбу отца, стал упираться, но не заплакал, а только крепче вцепился ручонками в шею поднявшей его кормилицы и снова воззрился вверх. А Александра и на прощании опять завывла в голос.

Из детей Александра не было Дмитрия — не успел приехать из Новгорода — да дочери Евдокии, что была замужем за смоленским князем. Старший Александрович, Василий, когда-то любимец, а после новгородских раздоров сосланный и отстраненный отцом от всех дел, угрюмо стоял рядом с матерью, иногда поддерживая шатающуюся Александру под локоть. В свои двадцать три он выглядел уже тридцатилетним. К матери у Василия было горькое чувство: не спасла, не отстояла, во всех семейных спорах всегда становилась на сторону отца. Василий старался не глядеть на младшего брата Андрея. От нынешнего княжеского совета он не ждал для себя добра. Андрей, еще подросток, тоже бычился на Василия: «Поди, захочет теперича забрать отцов удел, будет нам с Митькой тыкать!» Так, дичась друг друга, но не отходя от матери, они прошли и в крестовую палату. Детям Александра предстояло получить (или не получить?) уделы из рук враждующих братьев-дядедей.

Ростовские князья, внуки Константина Всеволодовича, приехали все скопом, с Марией Ростовской, дочерью замученного в Орде черниговского князя Михаила, и держались особняком.

Вотчина Константина уже при его детях распалась на части. Старший из Константиновичей, ростовский князь Василько, был схвачен на Сити и, отказавшись служить Батью, погиб у Шеренского леса, повешенный татарами за ребро. Братья его — ярославский и углицкий князья — тоже умерли, передав столы потомкам. Теперь на ростовских уделах правили внуки. Из них Роман Углицкий творил богоугодные дела, строил странноприимные дома и больницы, не помышляя о большей власти. В Ярославле сидел «принятым» смоленский княжич Федор Ростиславич, женатый на правнучке Константина Всеволодича. (Властная вдова сына Константинова, Марина Ольговна, и Ксения, ее сноха, пошли на этот брак, не желая, чтобы удел, за лишением мужского потомства, воротился в великое княжение.)

Они все приехали, вдовы и внуки, захватив и правнуков, совсем еще детей. Только «принятого» — Федора Смоленского — не взяли с собою на это семейное печальное торжество.

И здесь, среди вдов, была своя иерархия. Старшей по уделу, по значению и по роду была дочь Михаила Черниговского, вдова Василька Ростовского, Мария. И ярославская великая княгиня

Марина Ольговна первая засемила ей навстречу. Княгини поцеловались. Марина не утерпела, вполголоса пожаловалась на «принятого», Федора Смоленского.

— Красив! — щурясь, уронила Мария вспоминая Маринино зятя и обводя глазами собрание. (Борис Василькович и сама она посредничали в этом браке, тоже не хотели отдавать удел Ярославичам.)

— Уж больно красив-то! — вздохнув, возразила Ксения. — Не хорошо. У Маши сердечко тает, а он любит ли, нет — невесть!

— Власть-то он любит! — желчно подхватила Марина. — В ином мои бояре на вожжах не удержат...

— Пойдем, вот и Александра воротилась из церкви! — мягко остановила ее Мария и, тронув за рукав Ксению: «Не сердитесь, мол, что бросаю вас, а — не время нынче», — пошла навстречу великой княгине владимирской.

Шла прямая, пристойно утупив очи долу, и лишь на миг, невольно, подумалось-колыхнулось в душе: «Так вот! Всякому свой час!» Двадцать пять лет, как погиб муж Марии, князь Василько Ростовский, двадцать пять... И тридцать пять, как они поженились: дочка всеильного тогда черниговского князя Михаила и молодой ростовский князь Василько. И было ему восемнадцать лет, а ей едва исполнилось пятнадцать. Свадьбу гуляли в Москве, на полдороге, — так Михаил настоял, выдерживая честь. Десятого февраля пировали, а утром, в потемнях, полусонную, молодой муж выносил в сани, и — эх! чудо-кони, кони-вóроны двести верст как диво, как ветер пронесли ее за неполных полтора дня. И казалось, то не кони, а муж молодой на руках несет ее сквозь обжигающий солнечный февральский ветер, в голубых проносающихся тенях от стройных елей, в сверкающей россыпи снегов. И двенадцатого уже были в Ростове, в хоромах мужевых. А потом десять лет счастья, короткого счастья! Вечные походы, разлуки вечные, дети один за другим. И вот страшный 1238 год, и развеяна удаль и слава, и муж, любимый, замучен татарами у Шеренского леса... А был он красив, светел лицом и очами грозен, ласков и храбр на охоте и в бою, и из тех бояр, кто его чашу пил и хлеб ел, никто уже не мог служить иному князю. И было ей тогда, молодой вдове, двадцать шесть лет! А через семь лет новое горе, горее прежнего. Отец, князь Михаил, задавлен татарами в Орде, на глазах у внука, Бориса.

Отец был и не добр, и не прост. Все уже кланялись, чего бы было и ему поклониться Батью? Да, видимо, не просто-таки! Или

опоздал, или мстил Батый за унижение под Козельском, его, черниговским, Михайловым городом, где простоял без толку семь недель и положил силы несчетно. Или уж у старого отца заговорила гордость древняя, ихняя, черниговская, гордость Ольговичей: тряслась Византия, половцы ходили под рукой, а тут — вонючим степнякам кланяться! Вместо того чтобы враз поклониться Батью, поехал к западным государям. На Лионском соборе просил помочи на татар. А те тоже отrekliсь, решили отсидеться, и пришлось-таки ехать к Батью, который не простил ему ни гордости, ни Козельской осады, ни Лионского собора... Так погиб отец Марии и стал святым, страстотерпцем, мучеником...

Ужас тех дней (Борису в год убийства деда было пятнадцать лет) на всю жизнь заронил в душу этого красивого — кровь с молоком — молодца, нынешнего главы ростовского княжеского дома, страх перед Ордой и желание всегда и везде во что бы то ни стало ладить с татарами. Он и сюда, на снем, приехал не столько ревновать о власти, как втайне хотелось бы его матери, сколько поддерживать самого благоразумного из соревнователей.

Родичи, проходя, приветствовали друг друга тихим наклонением головы, говорили вполголоса. Александра, встречая, тоже склоняла голову, скупо отвечала, крепилась. Лишь когда подошла Мария Ростовская, вечная прежняя соперница, вдруг сердцем поняв, как не права была к ней все эти годы, дрогнула, точно сломалось что-то внутри. Обнимая Марию, вдруг зашаталась, повисла у нее на плечах и зарыдала, грубым низким голосом, обливая слезами плечо Марии. И оттого, что та не отвела рук, не отшатнулась, а матерински обняла Александру и гладила ее легкою сухою ладонью, тихо приговаривая слова утешения: «Ну что ты, Шура, крепись, крепись уж! Его воля! Не у тебя одной...» — оттого Александра, распаляясь, рыдала еще громче. Князя отводили глаза, хмурились. Борис было двинулся к ним — мать решительно махнула рукой сыну: отойди, мол! Митрополит Кирилл уже спешил на голос вдовы: утешать надлежало ему.

И, оглаживая рыдающую в голос Александру, Мария прощала ее наконец сердцем за все: за гибель замученного Василька, за отца, убитого Батьем, прощала за себя: легко ли молодой вдоветь четверть века! Прощала за все, провидя, что и той теперь заботы падут нелегкие и жизнь беспокойная, с детьми, что скоро потянут врозь, так что и не помирить их будет самой без заступы митрополита Кирилла, который и сам-то уже ветх деньми.

«Вот он идет, однако!» Мария ласково отстранила Александру, поворачивая ее зареванным лицом к митрополиту Кириллу. И та, еще вздрагивая всем крупным, отяжелевшим телом от задавленных рыданий, стихла наконец, склонясь перед духовным владыкою Руси.

Наконец по знаку митрополита Кирилла все уселись на опущенных широких лавках вдоль стен под иконами. Это был большой семейный совет, еще без бояр, которые тоже могли и перерешить и склонить своих князей к иному. (Были, впрочем, четверо ближайших бояр Александровых, но держались они в тени, стараясь никак не выставлять себя перед князьями и княгинями Всеволодова дома.) И, разумелось само собой, что как бы тут ни судили и ни рядили — все отлагалось до ордынского, уже окончательного решения.

Александра, оправившаяся, вымывшая лицо и за ушами холодной водой, поджав губы, недоверчиво вглядывалась в собравшихся. Прежнее отчаяние волнами ходило в груди, но теперь его гасил страх за будущее. Здесь, на семейном съезде, решалось: кто же займет место покойного? Последнего князя, который сумел удержать в руках всю великую Киевскую Русь, хоть и под татарским ярмом, хоть и отступя из Полоцкой земли под натиском Литвы, и из Киевской — от татарского разоренья, но держал и был. И кто же будет теперь?

ГЛАВА 3

Ярославичи — трое братьев покойного Александра — отчужденно и ревниво ждали княжеского смена. Они не собирались отдавать власти никому. В их руках были Новгород, где сидел сын Александра, Дмитрий, Тверь и Переяславль, Кострома, Суздаль, Городец с Нижним. В их руках, пока еще, находился и стольный город Владимир.

Андрей, когда-то тягавшийся с покойным за владимирский стол, встретил тело брата еще в пути. Из Костромы примчался младший Ярославич, Василий. Последним прискакал из Твери, верхом, с ближней дружиной, Ярослав Ярославич, второй брат покойного великого князя. Успел к выносу, хоть и не близка Тверь. Деревянно шагая (конь, третий по счету, бешено поводя мокрыми боками, храпел и шатался у крыльца, пятная снег розовой пеной), подошел и молча, хозяйски, остановил поднятый было гроб, даже не глянув